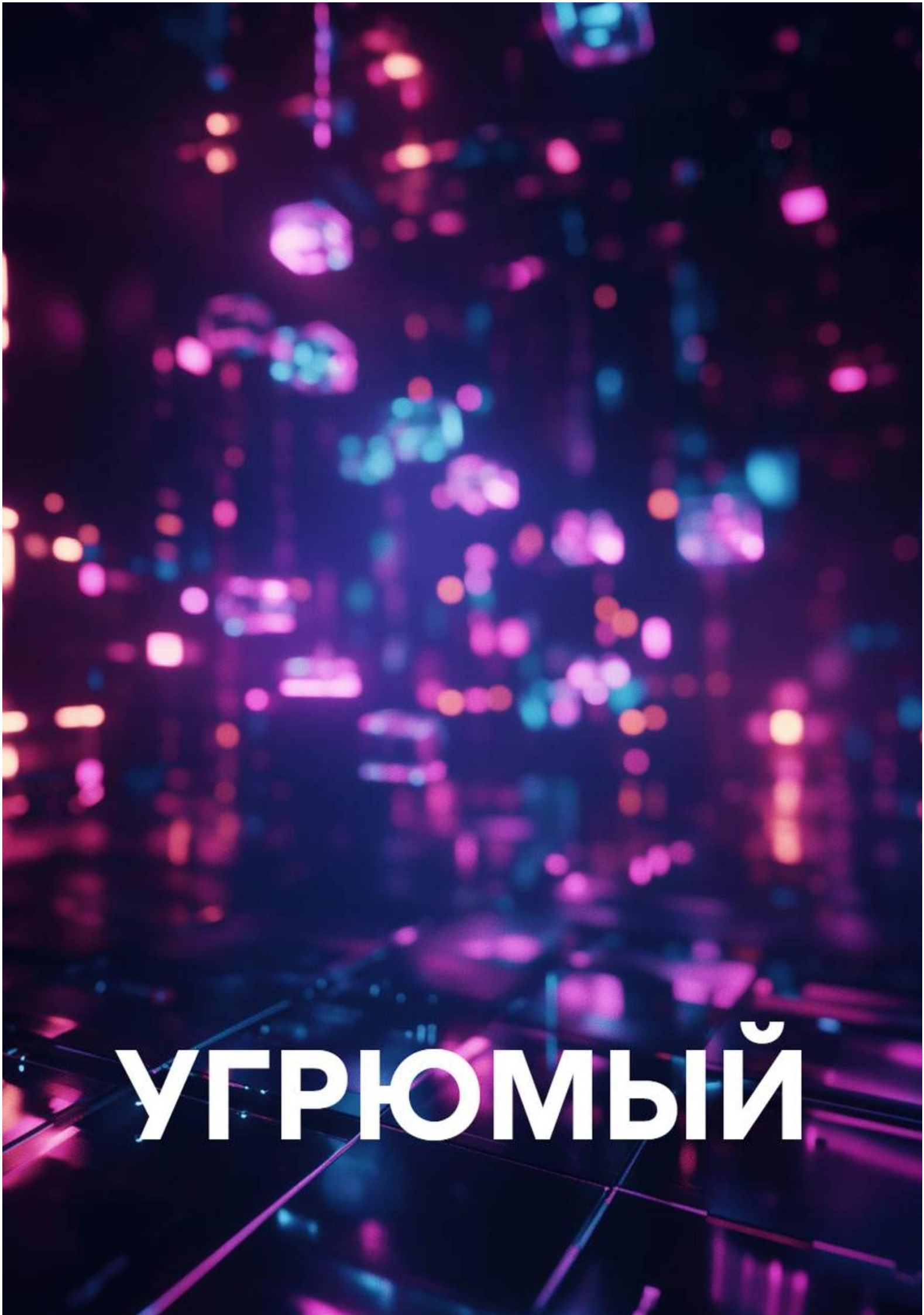

УГРЮМЫЙ

Артем Северный

УГРЮМЫЙ

«Автор»
2026

Северный А.

УГРЮМЫЙ / А. Северный — «Автор», 2026

Человек может копить золото и чужие секреты, но тайга оставляет его наедине с голым «я».Илья — бывший следователь по особо важным делам из Москвы. Потеряв веру в справедливость после громкого дела, он бежит в Сибирь и устраивается учётчиком на законсервированный прииск «Угрюмый» под чужим именем. Илья пытается раствориться в изнурительном труде, но профессиональный ум не обмануть. Поймав по радио сводку с высокогорной станции «Кедровая», он замечает в цифрах скрытый шифр. Девушка-метеоролог Саян каждую неделю отправляет в эфир тайный зов брату, пропавшему три года назад.Разгадав код, Илья запускает цепь событий, которые свяжут грехи экспедиции 1994 года, интересы столичного олигарха и браконьеров. Когда паводок отрежет прииск от мира, героям придётся столкнуться с фальшивым наследием и решить: бежать дальше или принять свой долг.

© Северный А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Ржавчина и хвоя 6
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Артем Северный
УГРЮМЫЙ

Роман

Часть первая. Ржавчина и хвоя

Глава 1. Переправа

Автобус высадил его там, где кончался асфальт, а вместе с ним, как показалось Илье, и всякое представление о порядке. Водитель, не оборачиваясь, буркнул что-то о том, что дальше только по реке, хлопнул дверью, и жёлтый «ПАЗик» ушёл обратно в пыльное марево, оставив после себя запах горячей резины и тишину, в которой немедленно зазвенел гнус.

Он звенел не как комары в подмосковных лесах, лениво и по-дачному. Он стоял над дорогой плотным дрожащим облаком, и Илья, шагнув с подножки, сразу понял: это не насекомые, это климат. Мошка лезла в уши, в уголки глаз, под воротник новой куртки, купленной накануне в магазине для туристов. Куртка была слишком чистой, слишком синей, и он почувствовал неловкость, как от фальшивой подписи под протоколом.

Июльский зной стоял такой, что воздух над щебёнкой плавился. Пахло багульником, пряным, дурманящим, от которого к полудню начинала ныть голова, и нагретой смолой, и где-то глубже, под этим, сырым камнем и речным илом. Запах тайги не был приятным. Он был огромным, и приятность тут ничего не значила.

На берегу, у самой воды, стояла баржа. Так её назвали бы из вежливости: четыре сваренных понтона, на них площадка, трос, перекинутый на тот берег, и дизельный движок под брезентом. Рядом на перевёрнутом ящике сидел мужик в выцветшей энцефалитке и ел варёное яйцо, аккуратно очищая скорлупу в ладонь.

— До «Угрюмого»? — спросил он, не спрашивая.

— Да.

— Новый учётчик, значит. Игнатьич звонил. — Он отправил в рот половину яйца и прожевал. — Сто рублей. Назад не повезу, пока вода не спадёт.

Илья достал деньги. Пальцы у него были тонкие, городские, с аккуратно остриженными ногтями, и он поймал на них взгляд перевозчика. Взгляд был не насмешливым, нет. Скорее учётным: так смотрят на груз, пытаясь прикинуть, выдержит ли понтон.

За последние четыре дня он, вероятно, десять раз повторил про себя имя, которое теперь значилось в паспорте: Игорь Ковалёв, тридцать шесть лет, холост, прописка в Тюмени, прежнее место работы закрыто. Имя ничего не весило, как пустая гильза. Он ждал, что оно будет жечь, но оно просто лежало во рту, безвкусное, и это было, пожалуй, лучшим, что он получил от перемены.

Река называлась Кабырза. Она была шире, чем он ожидал, и цвета тёмного чая: торф и гранит вместе давали эту глубину. Течение у баржи чуть закручивалось, и по воде шли белёсые ленты пены. Когда движок завёлся и понтоны, дрогнув, отошли от берега, Илья коснулся рукой борта и тут же отдёрнул: металл был горячим, как сковорода. Он стоял, глядя на воду, и считал привычно, не желая того: ширина метров сорок, скорость течения около двух метров в секунду, глубина неизвестна. Мозг продолжал работать, как тот самый движок под брезентом, отдельно от хозяина, по инерции. Это была его болезнь. Он умел складывать мир в таблицы, и после того, что случилось с делом Гайдамака, таблицы остались, а смысл из них вышел.

Он не знал, сколько простоял так, пока не услышал за спиной шаги: тяжёлые, размеренные, шаги человека, который никуда не спешит, потому что всё, что ему нужно, уже здесь. На другом берегу, на плоском галечном языке, стоял старик. Не махал, не окликал. Просто стоял, широкий, сутулый, в брезентовой куртке цвета старой хвои, и смотрел, как баржа ползёт к

нему поперёк течения, будто мерил её на глаз и заранее знал, сколько она весит и во сколько обойдётся.

Паромщик заглушил мотор у самой гальки и сплюнул за борт.

— Игнатьич, — сказал он. — Принимай. Говорит, учётчик.

Старик подошёл ближе. Лицо у него было такое, какие бывают у гор, если смотреть на них вблизи: ничего лишнего, только складки и камень. Глаза светлые, почти выцветшие, но стоило им остановиться на Илье, как тот ощутил знакомое, давно забытое чувство. Так смотрел на него когда-то подследственный, прежде чем решить, лгать или молчать. Только в этих глазах не было ни страха, ни расчёта. Был интерес человека, разглядывающего незнакомую породу: что внутри, выдержит ли, и стоит ли вообще ломать.

— Фамилия?

— Ковалёв. Игорь.

— Руки покажи.

Илья протянул ладони. Старик взял одну, перевернул, провёл большим пальцем по гладкой, ни разу не мозолистой коже и отпустил так, как отпускают вещь, оказавшуюся не тем, за что её выдавали.

— Писать умеешь, считать умеешь. Это хорошо. Прииск считать нужно, а то он, зараза, тоже кое-что считает. — Он не улыбнулся. — Про себя расскажешь, когда захочешь. Не захочешь — не надо. У нас, Ковалёв, так: кто что делал раньше, значения не имеет. Значение имеет, что делаешь сегодня и как держишь инструмент.

Он нагнулся, достал из кузова стоящего на берегу вездехода топор с отполированным до тёмного блеска топорищем, повертел, прикинул вес и протянул рукоятью вперёд.

— Держи. До барака три километра, дрова там не заготовлены. Начнёшь с этого.

Топор оказался тяжелее, чем выглядел. Илья принял его двумя руками и вдруг понял, что стоит на чужом берегу, с чужим именем, с чужой тяжестью в руках, и что впервые за полтора года никто не спросил его ни о чём, на что нужно было бы отвечать правду.

Прииск открылся не сразу. Сначала лес расступился, и сквозь последнюю полосу лиственниц показалась просека, заросшая иван-чаем так густо, что дорога угадывалась лишь по двум колеям, провалившимся в траву, как следы исчезнувшего зверя. Потом из зелени выросла крыша: ржавая, просевшая, с кривой трубой. Потом вторая. Потом целая улица бараков, серых, давно потерявших цвет, с чёрными окнами, в которых отражалось только небо.

А за ними, у самой реки, лежала драга.

Она была огромна. Илья читал о таких машинах и видел их на фотографиях, но фотография не передаёт главного: размера мёртвой вещи, которая когда-то жрала землю тоннами. Стальной корпус, облепленный бурой ржавчиной, наклонился к воде, как раненый кит, выброшенный на мель. Зубчатая цепь ковшей уходила в зелёную от тины воду. По корпусу уже поползли берёзки, цепляясь корнями за листы железа, в щелях росла трава, а над самой верхней палубой, где когда-то стояла рубка, висел жаркий дрожащий воздух.

— «Мария», — сказал Прохор Игнатьич. Он шёл сзади, неторопливо, и Илья вдруг понял, что старик ни разу не посмотрел на драгу. — В честь жены директора. Говорят, красивая была. Драга красивее.

— Давно стоит?

— С девяносто пятого. — Старик сказал это ровно, как называют дату чужого дня рождения. — Но я её из сердца не выкинул. Нет-нет да и скажет что-нибудь по ночам. Железо остывает, шумит.

Илья промолчал. Он научился молчать за девять лет службы: молчание в допросной стоит дороже слов, потому что человек, оставленный наедине с паузой, обязательно скажет лишнее. Сейчас эта привычка работала против него самого. Пауза повисла, густая и липкая, как смола, и в ней не нашлось ничего, кроме собственного дыхания.

Барак, в который его определили, пах так, как пахнет дом, брошенный не людьми, а временем: сырым деревом, мышиным помётом, холодной золой. На столе лежала толстая амбарная книга в коленкоровой обложке, обтрёпанная по углам, с карандашом на бечёвке. Рядом стояла керосиновая лампа с закопчённым стеклом и железная койка с матрасом, который кто-то, видимо, перед его приездом вытряхнул и выставил на солнце.

— Учёт тут простой, — сказал Прохор Игнатьич, останавливаясь в дверях. Он не вошёл, остался на пороге, и Илья понял, что это тоже правило: в чужую избу без приглашения не заходят, даже если изба твоя. — Что пришло, что ушло. Дизель, соль, патроны, мука. Золота здесь нет, не думай. Прииск законсервирован. Вот и ищи, куда оно всё уходит, если золота нет. Шутка. Не обращай внимания.

Он шагнул назад, и дверь скрипнула за ним тоскливо, по-звериному.

Илья остался один.

В окно било низкое солнце, и в его луче медленно кружилась пыль, поднятая его же шагами. Он поставил рюкзак на койку, сел рядом и долго смотрел на свои руки. Те самые руки, которые подписывали постановления, листали тома дел, сжимали ручку, когда на экзамене по праву он, двадцатилетний, был уверен, что закон это здание, а он его кирпич. Теперь на ладони лежал отпечаток топорища: красная полоса, почти ожог.

Где-то далеко, за бараками, за рекой, за лесом, ударил гром. Одиночный, сухой, без дождя. Илья поднял голову. Небо над просекой оставалось безупречно синим, но над горизонтом, на юге, над тем, что должно было быть хребтом, стояло что-то огромное, тёмное, неподвижное, как нарисованное.

Он не знал, что это Саянские горы. Не знал, что в одной из тамошних складок, на высоте двух тысяч метров, в эту самую минуту женщина, которую он ещё не встретил, записывала в журнал давление и направление ветра и ставила рядом едва заметную точку. Не знал, что эти точки, цифры и скобки складываются в слова, и что слова эти уже три года уходят в эфир, не получая ответа.

Он знал только, что к ночи придут бессонница и гнус. Он оказался прав в обоих случаях.

Сначала пришёл гнус. Едва солнце зашло за гребень, воздух над просекой превратился в дрожащую серую взвесь, и Илья, заперев окно, которое не закрывалось, заткнул щель тряпкой, повесил над койкой найденную в углу марлю и лёг в одежде, глядя в потолок. Дерево скрипело, остывая. Вода шумела на перекатах. Где-то в глубине прииска время от времени, с долгими паузами, будто разговаривая сама с собой, вздыхала драга. Железо остывало. Как и сказал старик.

Сон не шёл. Он не пришёл ни в полночь, ни в два, ни в три. Он не приходил уже полтора года, с тех пор как суд вынес приговор, который Илья не смог ни остановить, ни пережить. В темноте его мозг, холодный и безупречный, привычно раскладывал мир по строчкам и колонкам, и впервые эти колонки оказались пустыми. Ни одной зацепки. Ни одного факта о месте, о людях, о самом себе. Только вздох железа за окном и тонкий, высокий, бесконечный звон над самым ухом.

Когда на востоке посветлело, он встал, нащупал на столе топор и вышел во двор. Роса лежала на траве холодной серебряной шкурой. Над рекой стоял туман. Илья поставил первое полено на колоду, расставил ноги, как показывал когда-то отец, и ударил.

Топор вошёл в дерево с глухим, влажным звуком, будто в живое.

Он ударил ещё раз, потом ещё. К шестому полену руки загудели. К двадцатому он перестал думать. И впервые за очень долгое время не стал этого замечать.

Глава 2. Дрова

На третий день тело перестало быть его собственностью.

Оно жило теперь отдельной, обиженной жизнью: болело в тех местах, о существовании которых Илья не подозревал. Ныла поясница, ныли плечи, ныли даже пальцы ног, стёртые в чужих, слишком новых сапогах. По утрам он просыпался не от света, а от боли, и несколько минут лежал неподвижно, прислушиваясь к себе, как к плохому свидетелю: что именно он помнит, и можно ли ему верить.

Прохор Игнатьич в эти минуты уже сидел на крыльце своей избы, у дальнего края посёлка, пил из жестяной кружки чай, настоянный на чём-то горьком, и смотрел на реку. Илья ни разу не застал его спящим. Он не застал его и за едой, и за разговором с самим собой, и вообще за чем-либо, что выдавало бы в старике человека, которому может быть тяжело. Прохор Игнатьич был устроен как хороший инструмент: чем больше им пользовались, тем лучше он держал форму.

— Вчера двадцать три кубометра, — сказал Илья на четвёртое утро, не спрашивая, но ожидая оценки. — Я считал.

— Не кубометра. Метра. Куб у тебя в голове, а у нас складометр. — Старик не повернул головы. — Дров тебе надо на зиму столько, чтоб до апреля хватило на три печки. Посчитай и не ври.

Илья посчитал. Вышло чудовищно. Цифра, которую он вывел карандашом на обороте амбарной книги, не укладывалась в человеческие возможности: она предполагала, что он будет махать топором до самых заморозков, не отвлекаясь ни на еду, ни на сон. Он поднял взгляд и впервые поймал в светлых глазах старика что-то вроде усмешки. Не весёлой. Скорее, одобрительной, как у человека, увидевшего, что мальчишка, наконец, понял устройство мира.

— Вот и считай, — сказал Прохор. — А дальше не думай. Тайга думающих не любит. Она любит делающих.

Правила прииска Илья узнавал по одному, как узнают местность: на ощупь, спотыкаясь. В реку одному не лезть, вода идёт с ледников, ноги сводит за минуту, и вытащить некому. Вдоль просеки без нужды не шататься: медведь в июле тощий и злой, ягода ещё не пошла. Огонь по сухой траве не разводить. Лампу гасить рано, керосина мало. И ещё одно, которое старик сказал последним, уже уходя, без нажима, как говорят о погоде:

— В мою избу, где приёмник стоит, без меня не ходи. Не потому что секрет. Потому что приёмник старый, капризный, его трогать надо знаючи. Сломаешь — связи не будет до самых морозов.

Илья кивнул. Он давно научился замечать, что именно человек выбирает запретить, и сейчас отметил про себя: запрет был произнесён слишком спокойно. Так говорят о вещах, которые давно обдуманы и взвешены. Но отметил как привычку, а не как улику. Улики остались в Москве вместе с папками.

Гнус был страшнее топора.

Топор хотя бы бил по определённому месту. Гнус не бил, а просто присутствовал: серое, звенящее, вездесущее облако, которое садилось на шею, на запястья, на веки, пролезало под воротник и в рукава, забивалось в уши и в нос. К вечеру лицо превращалось в одну сплошную горячую опухоль. Илья мазался дёгтем, который выдал ему Прохор, мазался вонючей мазью из аптечки, завернулся в накомарник из серой сетки, и всё равно к ночи нащупывал на себе новые и новые мучительные точки. Он понимал, что дело не только в укусах. Тайга проверяла его. Тихо, равнодушно, без всякого желания победить: проверяла так, как природа проверяет всё, что приходит к ней без разрешения. Выдержит, значит, будет жить. Не выдержит, значит, она ничего не потеряет.

Именно это равнодушие и ломало его по-настоящему.

В городе у любого страдания был адрес. Кто-то виноват, кто-то должен ответить, кому-то можно написать, подать, пожаловаться, привлечь. Мир был устроен как огромное дело, где у каждого факта есть ответственный. Здесь не было ответственных. Была жара. Был гнус. Была

река, которая текла не для кого-то, а просто потому, что с гор уходит вода. И он, Илья, тридцатишестилетний человек с холодным математическим умом, стоял посреди этого огромного, безадресного мира с топором в руке и впервые чувствовал, что его ум, самый ценный его инструмент, здесь ни к чему не применим.

В четверг он сорвал ладони. Мозоли лопнули ночью, пока он спал или то, что у него называлось сном: короткие провалы в ничто, из которых он выныривал с колотящимся сердцем. Наутро простыня была в бурых пятнах, а ладони горели так, что он не смог взять ложку. Стоял посреди барака, смотрел на свои руки и вдруг, неожиданно для самого себя, рассмеялся. Смех вышел сухим, чужим, коротким, как кашель.

Прохор Игнатьич пришёл без стука, остановился на пороге, оглядел его, оглядел простыню, оглядел ладони. Ничего не сказал. Ушёл и вернулся минут через десять с банкой густой жёлтой мази, пахнущей воском и чем-то лесным, и с куском чистой холстины.

— Лиственничная живица с пихтовым маслом. Мажь, бинтуй, не снимай два дня.

— Два дня я не смогу рубить.

— Два дня и не будешь. — Старик положил банку на стол и, чуть помедлив, добавил: — Я в твои годы считал, что слабость надо переждать. Через неё надо пройти. А потом оказалось, что и то, и другое — глупость. Её просто надо признать. Тогда она перестаёт быть врагом и становится погодой.

Он вышел, и Илья остался стоять с банкой в обмотанных пока ещё ладонях. Слово «погода» застряло в голове и не желало уходить. Он ещё не знал, как скоро оно обретёт для него новый, почти физический смысл.

Вечером, на двух вынужденно свободных днях, он впервые открыл амбарную книгу по-настоящему.

Книга оказалась честнее людей. Почерки в ней менялись, как менялись годы: ровная, круглая, школьная рука восьмидесятых, торопливые карандашные каракули девяностых, потом долгий провал, и после него, уже ровными чернилами, аккуратные записи последних лет. «Мука, 40 кг. Соль, 10 кг. Патроны 12 к., 50 шт. Солярка, 200 л». Строчка за строчкой, месяц за месяцем. Он листал страницу за страницей, и привычные колонки собирались в голове сами, безо всякого усилия, как будто всё это время ждали только повода.

Он ничего не искал. Он просто читал, как читают письма чужого человека, пока не поймал себя на странной, едва заметной неровности. Не ошибке. Ритме. Дизеля уходило каждый месяц ровно столько, сколько нужно было бы, чтобы гонять вхолостую небольшой генератор. А генератора на прииске не было. Он не видел ни одного, ни в бараках, ни у мастерской, ни у Прохора.

Илья закрыл книгу. Потом открыл снова. Потом закрыл и положил на неё свою обмотанную холстиной ладонь.

Он почти услышал, как внутри, в давно остывшем механизме, щёлкнул какой-то старый, хорошо смазанный затвор.

Нет, сказал он себе. Нет. Ты приехал не для этого.

За окном, на реке, что-то тяжело плеснуло. Гнус звенел в сетке. Далеко-далеко, на самом краю слуха, ухнул и замолчал филин. А в дальней избе, у самой кромки леса, на секунду зажёгся и погас жёлтый огонёк: кто-то включил и выключил лампу.

Илья долго смотрел в ту сторону. Потом задул свою.

Баню Прохор Игнатьич топил по субботам, и на второй неделе Илью впервые позвали.

Она стояла на отшибе, у самой реки, низкая, закопчённая, с земляной крышей, поросшей мхом. Пока Илья колол щепу для растопки, старик носил воду из реки вёдрами, неторопливо, не расплёскивая, и Илья вдруг заметил, что шаги его легли в такт. Не нарочно. Просто тело, поломанное и переученное, начало слушаться другого ритма. Это было странное чувство:

будто внутри завёлся посторонний механизм, о котором ты не просил, но который, оказывается, работает лучше прежнего.

В парной стояла такая темень, что лица друг друга они различали только по блеску глаз. Пахло берёзовым дымом, распаренным веником и мокрым камнем. Илья лёг на полок, закрыл глаза, и жар потёк по спине, по рукам, по затёкшим, измочаленным мышцам, выжимая из них не только усталость, но и что-то ещё, глубже, старее. Он слышал, как у него под рёбрами понемногу разжимается кулак, сжатый, кажется, ещё в прошлой жизни.

— Ты думаешь, это просто жара, — сказал Прохор Игнатьич из темноты. Он сидел на нижней ступеньке, голый до пояса, огромный, с тёмной, как дубовая кора, кожей, исчерченной белыми шрамами. — А это разговор.

— С кем?

— С Хозяином. — Старик плеснул на камни ковш, и пар ударил в потолок белой волной. — Тайга ведь не пустая, Ковалёв. Ты городской, тебе кажется: деревья, камни, вода. А тут всё считанное. Каждый ручей кому-то должен, каждый кедр кому-то обещан. Раньше, при стариках, мимо гольца без гостинца не ходили. Хлеба кинут, табаку. Не потому что боялись. Потому что вежливые.

— А золото?

— Золото? — Прохор негромко засмеялся. — Золото, это сторож. Оно лежит не для того, чтобы его брали. Оно лежит, чтобы проверять, кто придёт. Дурак придёт, схватит, и оно из него всё вынет: имя, друзей, жену, сон. Умный придёт, посмотрит и отойдёт. А самый мудрый вовсе не заметит. — Он помолчал. — Я в молодости был дурак. Нашёл два самородка в одном ручье и три года не мог спать. Всё думал: где третий.

— Нашёл?

— Нет. Нашёл другое.

Он не сказал что. Илья не спросил. Он лежал, глядя в тёмный, закопчённый потолок, и думал о том, что за всю свою жизнь не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил о вещах. Не как о ресурсах и не как об активах, а как о соседях.

В городе вещи были молчаливы. Деньги, бумаги, подписи: они не требовали уважения, только учёта. Он привык к миру, в котором всё имеет цену, и цена, как ему казалось, и есть самое честное, что в вещах есть. Цена не лжёт. Лжёт только тот, кто её называет. Так он думал двадцать лет. Так он думал, когда сидел напротив Гайдамака и слушал его мягкий голос, объясняющий, что одиннадцать жизней можно разложить по бухгалтерским статьям.

А здесь старик говорил: каждый ручей кому-то должен. И Илья, вопреки всему, что в нём было циничного, холодного и выученного, поймал себя на том, что не хочет с этим спорить.

«Это жар, — сказал он себе. — Тепловой удар, обезвоживание. Мозг размягчается. Завтра пройдёт».

Но он знал, что не пройдёт. Просто потому что он впервые за много лет услышал фразу, которую нельзя опровергнуть, потому что она ничего не утверждает. Она только предлагает посмотреть на мир иначе, и ничего не требует взамен.

Потом они ныряли в реку. Вода обожгла холодом так, что на секунду отшибло и мысли, и дыхание. Илья вылетел на берег, хватая ртом воздух, и вдруг, неожиданно, захохотал. Громко, по-мальчишески, до слёз. Прохор стоял рядом, по грудь в воде, и смотрел на него с тем странным, тёплым прищуром, который Илья потом так хорошо выучит.

— Вот, — сказал старик. — Это и называется «жив».

Ночью Илья, как обычно, не спал. Но впервые бессонница показалась ему не пыткой, а просто тишиной. Он лежал, слушал, как остывает барак, и вспоминал смех, вырвавшийся из горла, как птица из клетки. Он не помнил, когда смеялся в последний раз. Вспомнил только, что тогда были люди, которых он любил, и он тогда ещё не знал, что любовь тоже бывает видом долга.

Глава 3. Дело Гайдамака

Бессонница была не болезнью. Бессонница была кабинетом.

Это Илья понял к концу второй недели, лёжа на железной койке с открытыми глазами и слушая, как на крыше барака тихо потрескивает остывающая жесть. Каждую ночь, едва он закрывал веки, в голове зажигалась знакомая настольная лампа, ложился на стол знакомый том, и память, как усердный секретарь, начинала подшивать листы. Он не мог её остановить. Он никогда не умел останавливать то, что умел делать хорошо.

Дело называлось «о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшем смерть двух и более лиц». Одиннадцать человек. Шахта «Северная», ночная смена, метановая вспышка, а после неё обрушение, которое замуровало штрек вместе с людьми. Двое суток спасатели резали породу. На вторые сутки перестали стучать в ответ.

Владельцем шахты был Аркадий Гайдамак, человек с мягким голосом и большими ухоженными руками. Илья допрашивал его четыре раза и ни разу не смог поймать на лжи, потому что Гайдамак никогда и не лгал. Он просто говорил правду в таком порядке, что она переставала значить то, что значила. Датчики метана? Да, были, и да, их отключали: они срабатывали десятки раз в смену, и работа стояла. Кто приказал отключить? Начальник участка. Кто приказал начальнику участка? Производственный план. А кто утверждал план? Тут Гайдамак мягко улыбался и разводил ладони, и Илья видел, как за этой улыбкой аккуратно, ряд за рядом, выстроена стена из бумаг.

Он всё-таки пробил её. Это было лучшее дело в его жизни. Месяцами сводил расхождения между двумя бухгалтериями, нашёл письмо, в котором Гайдамаку прямо сообщали о критическом уровне газа, нашёл главного свидетеля: инженера-вентиляционщика Лукина, тихого, седого, с дрожащими руками, который двадцать лет подписывал акты и впервые в жизни решил не подписывать.

Лукин дал показания. Подробные, на сорок страниц. А через месяц, накануне суда, пришёл в кабинет к Илье, сел на краешек стула и сказал, глядя в пол:

— Я ошибся. Я всё перепутал. У меня дочь. Вы же понимаете.

Илья понимал. Он понимал всё, и именно это стало потом самым невыносимым: что понимание ничего не даёт. Он мог бы надавить, мог бы сыграть на страхе, на чести, на долге. Он видел в этом человеке три рычага и знал, на какой нажать. И не нажал. Просто сидел и смотрел, как седой человек раскладывает на колене свою старую, затёртую жизнь, и не нашёл в себе права требовать, чтобы он положил на неё чужую.

Суд состоялся осенью. Гайдамак получил штраф и два года условно по малозначительному эпизоду. Главный, об убийстве по неосторожности, развалился за три заседания. Когда оглашали приговор, Илья сидел в зале, в третьем ряду, и ждал ярости. Ждал так, как ждёт приступа человек, знающий, что приступ неизбежен. Ярость не пришла. Пришла арифметика. Холодная, ясная, безупречная. Одиннадцать жизней. Четыре миллиона штрафа. Триста шестьдесят три тысячи за человека. Он сложил эту цифру в уме так же легко, как складывал любую другую, и ему стало страшно не от цифры, а от лёгкости.

Гайдамак, выходя из зала, остановился рядом. Не торжествовал, нет. Положил ему на плечо тяжёлую мягкую ладонь и сказал почти по-отечески, тихо, так, что слышал только Илья:

— Вы очень хороший следователь. Только вы всё считаете, как будто за каждой цифрой стоит что-то. А за ними ничего не стоит. Поверьте. Ничего.

И это было хуже поражения, потому что Илья не смог ему возразить.

Он ушёл через три месяца. Тихо, без рапорта о травле и без интервью, просто положил на стол заявление по собственному желанию и вышел. Жена, давно жившая в другой, лучшей жизни, где мужья приходят домой к ужину, не стала удерживать. Они расстались так, как рас-

стаются люди, которым нечего делить, кроме молчания. Квартиру он оставил ей. Сам ходил по Москве, как по музею чужого времени, и всё не мог понять, что именно в нём сломалось.

Ответ нашёлся на антресолях.

Отец, прокурор в отставке, умер весной того же года, и Илья разбирал его бумаги: старые грамоты, значки, пожелтевшие вырезки. Отцовская Почётная грамота за «блестяще раскрытое дело о хищении в особо крупных размерах» висела над письменным столом всё его детство, и Илья вырос, глядя на неё снизу вверх, как на икону. В одной из папок он нашёл материалы того самого дела. Читал два вечера. На второй понял, что человек, получивший срок, был невиновен, и что отец знал об этом, и что грамота висела над столом не как награда, а как плата.

Так вот что такое наследие, подумал он тогда. Не то, что оставляют. А то, во что тебя заставляют верить, пока ты не вырастешь и не посмотришь под обложку.

В ту ночь он сжёг папку на балконе. Пепел потянуло в сторону Кремля, и это показалось ему слишком похожим на шутку, чтобы смеяться.

Потом был человек в Тюмени, бывший осведомитель, который когда-то задолжал ему больше, чем мог вернуть. Он вернул тем, что умел: паспорт на имя Игоря Ковалёва, трудовая, справка из несуществующего леспромхоза. Илья заплатил и не торговался. Он вообще перестал торговаться с миром. Сел в поезд, потом в автобус, потом на баржу. Он хотел исчезнуть так, чтобы никому не пришло в голову спросить, куда делся человек, который всё считал.

Под утро в бараке посветлело. Серая, плотная, как мокрая шерсть, полоса легла на дощатый пол, на обрывок газеты, на амбарную книгу. Илья лежал, не двигаясь, и слушал, как за стеной, в траве, кто-то тихо и методично шуршит: то ли мышь, то ли ёж, то ли время.

Он не заплакал. Он давно этого не умел. Но в груди, под рёбрами, слабо, как далёкий перекат, шевельнулось что-то живое, и он с неожиданной ясностью подумал: за каждой цифрой всё-таки что-то стоит. Нужно только перестать быть тем, кто считает.

Он ещё не знал, что для этого придётся потерять всё, что считал своим.

Глава 4. Драга «Мария»

К драге он пошёл в воскресенье, когда ладони затянулись розовой, непривычно тонкой кожей, а гнус на время отступил перед ветром с реки.

Прохор Игнатьич ничего ему не запрещал. Это тоже было частью системы: старик не любил запретов, он любил последствия. Если человека не тянет к опасному месту, зачем ему запрещать. Если тянет, запрет только раззадорит. Поэтому Илья просто спустился по берегу, по влажной гальке, мимо ржавых звеньев конвейерной ленты, мимо опрокинутой вагонетки, вросшей колёсами в землю, и вступил на трап.

Драга встретила его гулом. Не звуком, а скорее ощущением звука: железо отзывалось на каждый шаг глухим колокольным вздохом. Сквозь дырявую палубу сочился зеленоватый свет, пахло ржавчиной, тиной и холодным маслом. Он шёл по узким переходам, держась за поручни, обсыпанные бурой крошкой, и думал о том, как странно устроена память вещей. Здесь работали люди. Здесь пели, ругались, пили чай из этих же алюминиевых кружек, одна из которых так и стояла на краю грохота, до половины заполненная дождевой водой с плавающим листом.

В трюме было темно. Илья включил фонарик и повёл лучом по стенам: заклёпки, трубы, смотровые люки, обрывки изоляции. Всё было мёртвым, давно, безнадёжно мёртвым. Он уже собирался уходить, когда луч, скользнув по подшипнику главного вала, вдруг споткнулся и вернулся назад.

На подшипнике блестело свежее масло.

Он не поверил себе, подошёл ближе, присел на корточки. Провёл пальцем. Масло было густым, чистым, пахло маслом, а не временем. Рядом на полу, в пыли, отпечатался круг: след

опущенной на этом месте бочки. И ещё один. И ещё. Три круга, один за другим, а чуть дальше, под брезентом, натянутым так аккуратно, будто его стелили для музея, угадывались округлые бока.

Илья откинул край.

Дизель. Шесть бочек, две пустые, четыре почти полные. Рядом: канистры с моторным маслом, свёрнутый шланг, ящик с гаечными ключами, а в нём, поверх ключей, завёрнутая в тряпку пачка патронов. Самых обычных, охотничьих, двенадцатого калибра.

Он сидел на корточках в сыром холодном трюме и слушал, как наверху, над головой, ветер перебирает листы кровельного железа. Мысли шли сами, ровными, привычными рядами, как строчки в протоколе. Дизель не нужен мёртвой драге. Дизель нужен тому, кто возит что-то на вездеходе. Или гонит генератор. Или держит какой-то запас на случай, когда понадобится, чтобы всё завелось. А значит, прииск, который «законсервирован», либо ждёт чего-то, либо кого-то.

— Много нашёл?

Голос раздался так близко, что Илья едва не выронил фонарь. Он не услышал шагов, не услышал ничего, старик вырос за его спиной, как вырастает из тумана дерево: просто оказался там. Стоял на нижней ступеньке трапа, чуть пригнувшись под низким перекрытием, руки опущены, в правой пусто. Топора не было.

Илья выпрямился медленно, не делая резких движений. Это была не трусость, а профессиональная привычка: перед тем как говорить с человеком, который может стать угрозой, нужно дать ему увидеть руки.

— Масло свежее, — сказал он. — Кто-то здесь работает.

— Я работаю. — Прохор Игнатьич не шелохнулся. — Подшипник сам себя не смажет. Железо ржавеет, если за ним не ходить. Я, может, и не хочу, чтоб она ржавела. Тебе какое дело?

— Бочки.

— Бочки. — Старик кивнул, как будто Илья назвал что-то давно знакомое. — Дизель для вездехода. Для рации. Для генератора на метеостанции, если зима рано придёт. Всё записано. Ты записи читал.

— Читал. Записано так, что на метеостанцию его выходит втрое больше, чем может сжечь её движок.

Тишина в трюме стала плотной, почти осязаемой. Где-то капала вода, мерно, как метроном. Илья видел лицо старика только наполовину, свет фонаря срезал его по диагонали: левая половина оставалась в тени, правая была освещена, и в этой освещённой половине не двигалось ничего, ни мускула, ни ресницы. Так выглядят люди, которые давно привыкли быть допрошенными собой.

Потом Прохор Игнатьич вздохнул.

— Ты правда следователь, — сказал он тихо. Не спросил. — Я так и думал. Руки у тебя городские, а глаза нет. Глаза у тебя как у моей покойной жены были, когда она знала, что я вру, и ждала, пока сам признаюсь.

Илья не ответил. Любое слово сейчас было бы признанием.

— Не бойся. — Старик вдруг, едва заметно, усмехнулся. — Я не из тех, кто людей в трюмах хоронит. Я с этим делом уже один раз расплатился. — Он помолчал. — Слушай. В девяносто четвёртом мы пошли на Чёрный голец. Семь человек. Геологи, проводники, радист. Искали жилу, которую я один нашёл на карте и один поверил, что она есть. Вернулся я. Один. Ты, наверное, в книге читал: «экспедиция погибла в результате несчастного случая». Это неправда. Но и не вся правда. Всю я пока никому не рассказывал, и тебе не расскажу. Ты не спрашивай. Только знай: этот дизель и эти бочки не для того, о чём ты подумал. А для чего, придёт время, сам увидишь. Если захочешь.

— А если не захочу?

— Тогда уедешь осенью, и я тебе слова не скажу. — Прохор отступил на ступеньку, освобождая проход. — Но сначала ты поймёшь, что от тайги уехать труднее, чем от Москвы. Тайга не следователей не любит. Она не любит тех, кто смотрит на неё как на улику.

Он повернулся, чтобы уйти, и уже на трапе, не оборачиваясь, добавил:

— В пятницу девчонка с Кедровой придёт, за припасами. Метеорологиня. Ты рядом не вертись, пока не спросит. Она у нас пуганая.

Шаги затихли. Трап скрипнул, утих, снова скрипнул. И снова только вода, ветер и капли.

Илья остался стоять в темноте с погасшим фонарём в опущенной руке. Сердце билось быстро и неровно: не от страха, а от чего-то, чему он давно не мог подобрать названия. Он снова чувствовал себя живым. Не счастливым и не спокойным, но живым, как человек, внезапно ощутивший под ногой дно после долгого падения.

Дело, подумал он. Опять дело.

И не стал себя ругать.

Он увидел огонь в ночь на четверг, когда вышел до ветру.

Не костёр и не лампу в окне, а крошечный, дрожащий, жёлтый огонёк, который не светил, а только обозначал себя: там, на верхней палубе драги, где когда-то стояла рубка. Илья остановился посреди двора, в одних штанах, в расстёгнутой рубахе, босой на холодной траве, и долго смотрел. Огонёк не двигался. Он горел ровно, как горит свеча, которую никто не собирается тушить.

Можно было вернуться. Лечь, укрыться, продолжить не спать. Прохор запретил многое, но ни разу не сказал: не подходи к драге ночью. Всё, что не запрещено, в этом мире считается разрешённым. Этому его тоже научила тайга, а может быть, суды.

Он пошёл по влажной, холодной гальке, стараясь не греметь, и поднялся на трап так тихо, как только умел. Железо гудело под ногами, но ночной ветер глушил звук. Он дошёл до поворота, где коридор открывался на широкую палубу, и остановился, прижавшись плечом к ржавой переборке.

Прохор Игнатьич сидел на опрокинутом ящике посреди палубы, спиной к нему, и перед ним, на куске брезента, стояли пять жестяных кружек.

Пять, в ряд, одинаковых, давно потерявших эмаль, с чёрными от копоти боками. В каждую была налита вода или чай, густой, тёмный, и перед каждой лежал кусок хлеба с крупинкой соли. Посреди, на сколоченной из двух досок подставке, горела свеча, вставленная в горлышко пустой бутылки. Пламя колебалось, но не гасло, хотя ветер, прорывавшийся сквозь дыры в обшивке, гнул его, как тростинку.

Старик не молился. Он не шептал, не крестился, не говорил вслух. Он просто сидел и смотрел на огонь, положив большие руки на колени, и время от времени чуть-чуть кивал, как кивают человеку, который рассказывает долгую историю и в которого нельзя не верить.

Илья стоял, не дыша. Он видел профиль старика: тяжёлый, неподвижный, с глубокими тенями под скулами, и странно открытый, как у спящего. Таким Прохор Игнатьич не был никогда: ни на реке, ни в бане, ни за столом, ни у приёмника. Это лицо принадлежало кому-то другому, тому, каким он был до всех своих правил.

Пять кружек.

Он мгновенно сложил: пять, шесть, семь. Экспедиция, о которой Прохор обмолвился в трюме, состояла из семерых. Вернулся один. «Мёртвого оставили», сказал он потом о Бурлакове, но этого Илья ещё не знал. Он знал только, что на брезенте стоит пять кружек и свеча, и что человек, посадивший их в ряд, делает это не в первый раз. Брезент был вытерт до гладкости, ящик стоял точно на своём, давно протоптанном месте.

Сколько раз? Каждую неделю? Каждый год в одну и ту же ночь? Тридцать лет подряд?

И тогда впервые за всё время пребывания здесь следователь в нём не включился. Не завёл счёт, не стал выстраивать версии, не потянулся к блокноту, которого у него и не было.

Он просто стоял и чувствовал, как внутри поднимается что-то тёплое, тяжёлое и стыдливое, как поднимается вода в тёмном колодце. Он подглядывал. Он вторгся туда, куда не пускают, и это было хуже любого обыска, потому что у обыска хотя бы есть постановление.

«Уходи», сказал он себе.

Но не мог. Старик на палубе вдруг поднял руку и очень медленно, будто боясь расплескать, поднёс к губам одну из кружек. Отпил. Поставил обратно. Потом взял кусок хлеба изперед соседней и аккуратно, по-хозяйски, положил себе в рот. Жевал долго, глядя в огонь. Так делают, когда делят трапезу с теми, кому уже не нужен хлеб, но нужно, чтобы кто-то его ел.

Илья отступил. Один шаг, второй, третий. Трап скрипнул, но старик не повернул головы. Только когда Илья уже спускался по ступеням, до него долетел голос, тихий, ровный, обращённый не к нему:

— Ночь добрая, Ковалёв. Иди спи.

Он остановился. Секунду стоял в темноте, на ржавой лестнице, с колотящимся сердцем.

— Простите, — сказал он.

— Не за что. — Свеча на палубе дрогнула. — Любопытство человеку положено. Только потом не говори, что я не предупреждал.

Он добрёл до барака, лёг, натянул на голову одеяло и долго лежал без сна, глядя в темноту. И впервые за много месяцев ему стало не страшно, а стыдно: чистым, детским, забытым стыдом человека, увидевшего чужое горе и не сумевшего ни помочь, ни отвернуться.

Глава 5. Раз в месяц

Она пришла в пятницу, перед самым закатом, и сначала Илья услышал не её, а лошадь.

Звук шёл с верхней тропы: мерный, глухой, с лёгким металлическим позвякиванием удил. Он колол дрова у крайнего барака и сначала подумал, что это показалось, потому что слух у него в последние недели стал странным, избыточным, как у зверя. Он различал шаги Прохора за двести метров. Различал, какой из ручьёв шумит громче после ночного дождя. Но лошадь существовала на самом деле. Невысокая, мосластая, пегая, с густой, свалявшейся гривой, она вышла из-за лиственничной гряды, ведя за собой на поводу женщину.

Это выглядело именно так: не женщина вела лошадь, а лошадь вела её. Они шли в одном ритме, как два существа, давно привыкшие думать вместе.

Ей было около двадцати шести. Невысокая, сухая, в выгоревшей энцефалитке с закатанными рукавами, в мужских сапогах, с тяжёлым рюкзаком за плечами и вторым, пустым, перекинутым через седло. Чёрные волосы, стянутые в узел на затылке, чёрные брови, широкие скулы. Лицо смуглое и неподвижное, как вырезанное из дерева, но глаза, глаза у неё были живые. Узкие, тёмные, слегка приподнятые к вискам, и в них стоял странный, ровный, тревожный свет, какой бывает в окне дома, где ждут.

Она остановилась на краю посёлка и сразу посмотрела не на людей, не на бараки, а вверх. Долго, внимательно, с каким-то профессиональным прищуром. Илья невольно проследил за её взглядом. Небо над хребтом было чистым, жёлто-розовым, ничем не примечательным. Но она смотрела на него так, как смотрят на лицо знакомого человека, пытаясь угадать по морщинке, что случилось.

— Саян, — сказал Прохор Игнатьич, подходя. В его голосе прозвучало что-то, чего Илья ещё не слышал: тёплое, осторожное, почти отцовское. — Опять налегке. Чего приволокла?

— Орех кедровый, пуд. Шкурки три, белка. Журналы сдать надо. — У неё был низкий, чуть хрипловатый голос, и она говорила неторопливо, будто каждое слово взвешивала, прежде чем отдать. — Мука, соль, сахар. Батареи для рации, шесть штук, вот список. Керосин, если есть.

— Найдём.

Они пошли к амбару. Илья остался с топором, не зная, куда девать руки. Прохор не позвал и не запретил, а значит, следовало отойти. Он уже повернулся, когда услышал за спиной, совсем близко, тихий вопрос:

— Вы новый?

Она стояла в трёх шагах. Он не слышал, как она подошла. Лошадь осталась позади, у коновязи, переминаясь, вздыхая, жуя уздечку.

— Учётчик. Ковалёв.

— Игорь, — сказала она. Не вопросом. Прохор, видимо, успел сказать. Она произнесла имя без интереса, без подозрения, как произносят название незнакомой реки. Потом посмотрела ему прямо в лицо. Не в глаза. Чуть ниже, на тёмные круги, на растрескавшиеся от гнуса губы, на воспалённые веки. — Вы не спите.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.